

Евгений Кушнер

Я СТОЮ И ПЬЮ КОФЕ

Почему каждый из них ко мне подходит? Неужели, если я в оранжевой кепке, ко мне обязательно нужно приставать и выпрашивать сигареты? Нету у меня сигарет, нету! Они кончились еще вчера вечером, и денег теперь хватает только на кофе. Впрочем, неизвестно еще, что лучше: кофе или сигареты.

Я думаю, что, может быть, попозже мне удастся выпить грамм триста сухого вина, если же нет, то, вероятно, придется ограничиться опьянением от всяких безобразных воспоминаний и ассоциаций. Ну и пусть. Пусть все происходит так, как заложено кем-то с самого начала. Это естественно и нормально, это прекрасно.

Наверное, не может быть ощущения более омерзительного, чем у меня сейчас. Нет, никто меня не обижал, да и слава Богу. Я самый пошлый и трусливый человек на свете, об этом сказала сегодня моя любовница (вовсе, причем, не задевая мое самолюбие). Она не права. Хотя, может, и права в чем-то, но это не очень важно. Я стою и пью кофе и думаю о ее ногах и еще о какой-то белиберде, а главное, — о себе и о том, как выгляжу я со стороны. Я об этом думаю постоянно (даже ночью) и, признаться, когда сам себе не нравлюсь, это портит мне настроение. По-моему, любой человек думает о себе каждую минуту и, очевидно, правильно делает. Это и унижительно, и чудесно; и отвратительно, и эстетично... я еще много могу написать подобных словес.

Голова — это сокровищница всякой дряни. Почему я так жалею смерти и позора тому человеку в коричневой шляпе? Точнее, сначала позора, а затем позорной смерти. Он не сделал мне ничего дурного, посмотрел только своим быстрым нагловатым взглядом и отвернулся... С удовольствием набил бы ему морду, если бы был настоящим писателем, да и физически сильным вдобавок.

Безусловно, это все глупости, и я несу черт знает какой бред. Меня изводит только то, что я трезвый и к тому же сильно проголодавшийся за последние два дня.

Я все же писатель. Плохой, глупый, но писатель. Я умею писать всякие слова и думать при этом о живописи. Это самая гладкая черта писателя. Лежать на кровати, курить папиросу, глядеть в окно и вместе соседних домов представлять себе желто/синие картины в **стиле** Кузнецова должен каждый, хоть капельку уважающий себя прозаик. И все-таки я не прозаик, а дерьмо. Потому, что у меня нету решительно никаких убеждений. То есть убеждения есть, но они... — жуевые!! Ой!.. извините, ради Христа! Оговорился! Ошибся! Оскандалился! Оплошал! Охуел! Тьфу ты, черт! Опять то же самое.

Так вот, об убеждениях. В XIX веке (все, наверное, согласится) люди на плаху шли, с лучшими друзьями ссорились, в жопу лезли из-за своих идей. А сейчас... Идея стоит два-сорок-две или сколько там теперь, после подорожания... Давно я, надо сказать, портвейну не пивал-с. Обидно, кстати сказать, да-с. Не по карману-с.

Так вот, я теперь почти-что без убеждения и хожу. Жив, однако, пока. Слава тебе, Господи. То есть нет, убежден я, например, в том, что дома ночевать сегодня не стану ни за что. Ни за какие деньги не буду. Жена съест. Не знаю, за-что, правда, да и уж съест ли, — не аная, но по щекам-надаёт — это точно. Жену мою Надюша зовут. Наденька. А я сейчас любимую-жду. Излюбленную. Возлюбленную. Любовницу. Шлюшку одну. Люпочку. У нее, как правило, синяки под глазами. Это потому, что ее каждый Божий день мужики лупят. Бедняга. Ведьмушка моя сладкая. Она у меня обычно на пиво стреляет, а я у нее на водку. Или наоборот. Я ее вообще-то не особо люблю, а она-то уж меня точно терпеть не может, а все-таки кантуемся. Вот уже второй месяц. Она говорит замкаясь и курит очень смешно. А лет ей то ли 25, то ли под 40, а не исключено, что и вообще 60. Знаете, всякое бывает. Бывает, переснишь с бабой, юной вроде бы, чудесной, а наутро смотришь... И во рту от ужаса и отвращения зубы трещать и стучать начинают.

Но это я все к слову. У меня, знаете, иногда недержание речи объявляется. Люблю потрепаться. Частенько так начнешь говорить, да все так говоришь и говоришь, собственно, пока

говорится. Борька-сосед обещал зубы пересчитать. Утверждает, будто я тогда меньше языком трепать буду. Дурачок. Он не знает, что существует еще и язык жестов.

А теперь я стою и жду свою Любочку, стою и пью кофе. Если она не придет, я или умру или... пойду гулять по Неве. И буду бродить и вдыхать аромат бензина, мостовых и мутной, злобной воды, перемешанной с нефтью и мазутом. Между прочим, весьма небезынтересное сочетание, особенно для человека с обостренным чувством обоняния (каким и являюсь я). У меня вообще все обостренное. Я с ног до головы обостренный, несчастный и интеллигентный. Чаще всего интеллигентность моя проявляется тогда, когда я выпью, ну хотя бы полбутылки "Вермута". Я становлюсь крайне галантным, обходительным и (особенно при дамах) страдаю некоторой щекотливой и игривой пикантностью выражений. Это все чудесно и естественно. Человек и не может не стать остроумным и чуть нагловатым, выпив полбутылки "Вермута". Впрочем, пожалуй, нет. Может. Но тогда он или негодяй, или хам, или (что чаще всего) просто бездарность и кретин.

Итак, я стою и пью кофе. Любочки нет. Где-то там, так сказать, внутри себя я, конечно, понимаю, что она и не придет. Да более того! Я это с самого утра знал, а когда подходил к кофейной — так тем более знал. Но я человек такой (кстати, очень хороший человек), что строю свою жизнь никчемную на каких-то иллюзиях. То есть — нет. Иллюзия — слишком красивое и вдобавок глупое слово. Терпеть его не могу... а ведь у меня немаленький словарный запас, в чем вы, дорогие друзья, наверняка, убедились уже, прочитав эти первые страницы. Я, между прочим, уже в 12 лет отгрохал пару таких романов про индейцев, что никакому Майн Рида не снилось. В моих романах и дрались, и стреляли, были и погони всяческие, и перестрелки, потасовки, перетасовки, переключки... иди, что там еще. Лохматый, немой, одноглазый, однорукий и одноногий старый Гарри безумно был влюблен (влюблен всеми двоими искалеченными и подрезанными частями тела) в юную, двуглазую (как ни странно!), двуногую, двурукую и иногда даже говорящую красотку Мариэль. Любовь была, натурально, роковая, окончательная, трагичная и душераздирающая. Помню сам неоднократно слезу

пускал, когда в порыве вдохновения водил пером по страницам. В конце произведения обоим влюбленным какие-то краснокожие попуасы отрезают уши, затем их самих кромсают, оскорбляют и избивают, а потом на Мариэль набрасывается голодный обезумевший маньяк и откусывает оба соска. Дальше еще происходит что-то, но я этого уже не помню. Да это и неважно. Главное — дать вам понять, господа, что я ужасно плоховит и талантлив... еще ужаснее! Да. Так о чем я говорил? Об иллюзиях. Надо подобрать какое-то другое слово. Но мне (увы!) ничего не идет на ум. Ну, и ладно. Иллюзии — так иллюзии. Собственно, у меня как раз единственное, чего нет, да и не было никогда — это иллюзий. Я всегда был догматик, прагматик, маразматик и в такой же степени теоретик. Я относился к жизни великолепно, представляя себе ее как определенный ритм... может быть, как циферблат часов. То есть не как сам циферблат, разумеется... А просто мне казалось, что существование любое подобно секундной стрелке. Ведь если часы не заводить, они рано или поздно остановятся. (Я не считая и не принимаю эти современные, супермодные, супер- и самозаводящиеся какие-то там электронные, протонные часы за часы. Это противоестественно и антидинамично. По-моему, это первый признак сошествия на землю антихриста). Вот мне и казалось, что люди живут где-то наподобие этой секундной (или, в лучшем случае, минутной, я уж, заметьте, не говорю часовой) стрелки. Но это мне только казалось. Точнее, нет. Доля истины в этом все-таки есть, но дело совсем в другом. Дело в том, что я хотел сказать сейчас что-то очень-очень умное и интеллигентное, а теперь забыл. И бью себя по затылку, и не могу вспомнить.

.. Ну, да и хорошо. Значит, я стою и пью кофе. Я больше не думаю о Людочке. Пошла она в жопу! Она еще с утра достала ~~меня~~ меня невероятно. Неописуемо. Беспрецедентно. Видеть ее не желаю. Я тупо гляжу на улицу, и сквозь запотевшее стекло стараюсь различить силуэты прохожих. В этом уголке Литейного есть что-то восточное. Дух тут что ли какой-то турецкий... Как было бы великолепно, если бы

сейчас в дверях появился вдруг какой-нибудь султан в чалме и белых штанах. Одежда его была бы перевязана ярким оранжевым поясом, на лезвии широкого кинжала плясали голубые и сиреневые блики, а правый вертящийся стеклянный глаз наводил ужас на посетителей (вшивых кофеманов, типа меня) и придавал всему облику степенность, кровожадность и законченность. Но Петербург. — город скучный, город снобов и утонченных бездарностей. Здесь никогда не появится (даже проездом) ни восточный султан, ни американский бизнесмен, ни римский папа. Питер обречен на постепенное вырождение и вымирание или (что в 20 раз хуже) на простой в тоске и нечистотах. Я ненавижу свой город, хотя и люблю его больше всего на свете.

Машины, фонари и проспекты отвратительны, когда у тебя нет капусты даже на стопарь сухого вина. С удовольствием закатил бы сейчас скандальчик. С кем-нибудь. То есть с кем угодно. Хотя бы вон с той полной, благовоспитанной, благонаправленной, благопристойной (и еще три сотни раз — благо) дамой, на редкость омерзительно уплетающей какие-то жирные, так и сочащиеся различными приторными привкусами пирожные. Я сказал бы ей какую-нибудь сальность или просто достойно и возвышенно плюнул в харю. Я бы надавал ей пощечин, от чего ее жирная физия покраснелась бы, как спелый помидор. Но я, пожалуй, не способен на скандалы. Это первый признак того, что я вообще ни на что не способен. Я не смогу (пусть хоть случайно) даже на ногу-то ей наступить в толпе. Я безвольная, трусливая букашка. Я жалкий, нежный и потерянный. Я милый, тонкий, чувствительный и беспринципный, — я...

Я стою и пью кофе. На вид мне лет 26, на самом же деле — 25. Я неважно сохранился. Я очень высокий, очень рыжий и очень жирный. У меня огромные фиолетовые (с еле уловимым желтым оттенком) глаза и старая, замызганная серая фуфайка. Да, да. Удивительно, что вы догадались так быстро. Совершенно точно. Меня действительно обокрали позавчера. Вернее, обокрали и избили. То есть не то, чтобы избили, а просто нагло и бесповоротно раздели посреди дня и Невско-

го. Сняли мою синюю, валитую всяческой художественной краской и окислителями, растворенными в бензине, фуфайку, и теперь я вынужден ходить в другой — серой, не менее живописной. Точнее — нет. Никто меня не раздевал, а я сам отдал свою Розочку, Нарциссочку, Марципаночку, Георгиночку (так я прозвал свою первую фуфайку за ее разноцветный вид). Отдал — и все тут. Ну, естественно, меня попросили. Даже очень, помню, уговаривали. И я как человек всеобъемлющий с одной стороны и как незблудно верящий в ближайшее послезавтрашнее коммунистическое будущее — с другой, не мог не пойти на... встречу желаниям трудящихся и не пожертвовать за полстакана портвейну водопроводчику Шуре из соседнего жакта свою замечательную фуфайку. Впрочем, я поступил вполне логично, потому, если бы не сделал этого, на моих поминках давно бы уже удивлялась какая-нибудь полуслучайная компания. Но это все было два дня назад, а теперь... Теперь я стою и пью кофе и в ушах моих розовых жужжит что-то, или это только кажется мне...

Я стою и пью кофе..., я стою и пью кофе, я стою и пью... Нет! Это уж слишком. В этой чашке нет и не было никакого кофе. Какой может быть кофе, когда у меня нет вообще ни одной копейки! Решительно! Окончательно! Буквально! Вообще! Ни одной! Понимаете? Ни одной!

Но главное не это. Главное то, что мне также решительно некуда пойти. Я не пил сегодня кофе. А нахожусь здесь и занимаю стоячее место лишь потому, что мне и негде больше находиться. У меня нет больше ни дома, ни квартиры, в которую я мог бы зайти и в которой мне быди бы хоть капелюк рады. Кофе — это иллюзия (о, святая Мадонна! Опять это слово!), иллюзия занятости, иллюзия какого-то не до конца осмысленного действия. И про Людочку эту чертову я выдумал. И вообще я все это выдумал, кроме того, что жена меня из дому выгнала, и еще того, что я действительно сегодня ночью повешусь. Но это последнее пока не играет никакой роли. Пока, во всяком случае, потому что ведь вот же он — я. Ить вроде как живой, верно? И дышит и еще при этом думает чего-

то, да вдобавок стоит и пьет кофе. Тьфу, идиотизм! Старая песня! Внешнее сознательное сознание, при подсознательном осознании всей нелепости... нелепости чего?.. (опять, заговорился, хрен старый — подумаете вы, и правильно сделаете).

Я умею быть ученым и талантливым, в принципе — я умею стоять и пить кофе, но теперь это для меня слишком сложно.

Я проталкиваюсь к выходу. Люди в темных пальто шикают на меня. Они чувствуют чутьем, знают сознанием, что я безропотно стерплю любые их выходки, несмотря на то, что мне нечего терять. Я застенчиво и мягко улыбнусь, если они назовут в лицо меня хамом, и прошепчу трогательно: "Простите... разрешите... видите ли... можно?" Я ведь писатель. И они это знают. Любому писателю русскому и не подобает говорить иначе, а уж мне, классику, и подавно.

На улице холодно, гнусно и как никогда неуютно и дождливо. Больше всех на свете я ненавижу свою жену. Она тоже меня ненавидит, но все же несколько меньше, чем я ее. Итак, куда же я пойду? Я оглядываюсь по сторонам. Везде струи. Вся жизнь, в сущности, состоит из струй, разве не так? Асфальт мокрый, но, пожалуй, не более, чем моя спина и ноги.

Только в мире и есть, что дождливый

Питер постылый кривой

Только в мире и есть, что нажива...

Боди заряд холостой...

Я, правда, не знаю, что за нажива и какая боль, а уж тем более — какой заряд, да еще холостой, но все равно — согласитесь: я великолепный и тончайший поэт. Во всяком случае — интересный. То есть, может, и не интересный, но не бездарный. Это наверняка. Впрочем, возможно, и бездарный, но не очень. Хотя вполне вероятно, что и очень, но все же почти-тайте, рекомендую. Главное — нет эпигонства и подражательства. Подражательства, подражания, подорожания... Нет, я неправильно выразился. Как раз эпигонства у меня полно, а подражания — тау уж точно. Скажу даже больше. Все мои стихи только и состоят из подражательства и подражания, и (ответу вам исключительно по секрету) главным образом — из эпигонства... Но именно в данном случае Фет тут не при чем. Не хочется проводить никаких параллелей.

Я прохожу Некрасова, точнее — перескакиваю по лужам. Не стоит делать мокрые ноги мокрее, чем они есть. Должно быть, со стороны я весьма похож на Летучего Голландца или на "бегущую по волнам".

Троллейбусы бессмысленно светят своими неестественно желтыми фарами мне в морду, дождь долошматит увесистыми каплями по башке. Я, наверное, сойду с ума, потому что ловлю себя на том, что спешу куда-то. А сдешить некуда. В этом трагедия. Я дошел до последней стадии деградации, но ноги пока еще не понимают этого. Не могут понять, осознать, и поэтому бегут, как ошалелые... но зато потом останавливаются и маячат у водосточной трубы какое-то время... до тех пор, пока какой-нибудь Собакавич не наступит на них случайно и, кстати, сделает доброе дело. Сам я уже не думаю ни о чем. Все происходит чисто механически, и я вполне покорюсь любым изменениям, которые (дай того Бог!) еще произойдут со мной.

Пестеля, Чайковского, Воинова... Нева. Налево? Направо? Прямо? Я иду налево. Во-первых, мне кажется, что налево слабее дождь, а во-вторых, налево — Летний сад со своими мощными дубовыми и кленовыми тополями. У этих тополей довольно крепкие сучья, и я совершенно спокойно и без нервов смогу повеситься.

Но я уже сейчас, стоя возле Литейного моста, уже сейчас, где-то в глубине, в тайниках мозга и души знаю, что струшу. Да и к тому же — я ведь пошутю. Я не собираюсь вешаться. Это слишком вульгарно и абсурдно. Да, главное, и зачем?!. Неужели только потому, что мне некуда сегодня ночью идти? Ну, господи, если дело только в этом — так подумаешь! Переночую где-нибудь на скамейке того же Летнего сада... Все равно рано или поздно куда-нибудь приткнусь. А даже если и не приткнусь, то заболею воспалением легких и умру. Но нет, умирать я не хочу. Хотя бы из принципа. А самое важное — не хочу доставлять радость своей жене. И потом (правда, это уже как бы на заднем плане) я просто очень, очень люблю жить. Люблю, когда на меня смотрят бабы, люблю пиво, люблю свои грязные ногти... Зачем обязательно кончать

собой? Я простой советский сторож. Все у меня как у всех. Баба вот только шибко говнистая. Но это как раз и точно у всех. Так что вот такие дела. Однако утопиться все же можно. Это будет и культурно, и красиво. Но для этого надо идти на мост, а там могут в милицию забрать (мусора — они ведь за- всегда придраться к чему-нибудь сумеют), да и к тому же я уж решил идти налево, а я — человек слова. . . .

Я иду дальше и смотрю себе под ноги. Год назад в это же время примерно я еще учился в каком-то сраном вузе, и думал о жизни, о книгах и мороженом. Всю жизнь любил сладкое. Всю жизнь — до недавнего времени. Теперь я вообще ничего не люблю. Просто терпеть не могу. Вообще — это дурная привычка — есть. Она до добра не поведет. Ну, что это такое, подумайте сами — чуть случится что, — сразу есть, есть... Жрать. Фу, блядь, мерзко! И не по карману. Я вот завязал; уже почти неделя скоро будет.

Не помню, как меня выгнали из института. Помню скандалы многочисленные. Помню отлично к жене переезд, к этой вертихвостке, ублюдочной твари, к мрази, к этой певке поганой, испорченной самим своим появлением на свет. Ничего больше не помню. Может, это и к лучшему. Между прочим, вполне может быть, что и нечего помнить. Ничего за эти последние месяцы и не было. Абсолютно никаких событий. Вообще. Не верите? Ничего. Представьте, все было именно так, как сейчас. Каждый божий день был в точности такой же, как сегодня. Один к одному. Забавно, а? Каждый день я уходил из дому, возвращался, снова уходил и опять возвращался... Но нет, сегодня я, видимо, не вернусь, хотя... что говорить? Посмотрим... Жизнь, видать, странно и глупо так устроена, что в данную минуту мы принимаем решение под воздействием чего-то, а затем поражаемся собственной слепоте, но уже не поправить ничего...

Петропавловка видится отсюда какой-то мелкой и вибрирующей. Шпиль прыгает все время туда-сюда. А внизу, под стенами, мутная желтая подсветка. Уже темно. Сейчас, наверно, часов 7 или 8. Я люблю Петропавловку, когда она в тумане.

В ней тогда есть что-то мистическое и притягивающее. И шпиц, и крест, и сами башенки грязно-мутно-желтого цвета... Я ведь еврей. Все евреи должны, по-моему, любить все таинственное и мистическое. Заметьте, не местечковое, а мистическое. Это так же верно, как то, что все они должны быть сторожами. Хотя бы в душе, в самой-глубине души. Пусть он какой-нибудь там Зинкельман или Аранович, пусть он работает академиком или каким-нибудь научным мудаком... все равно он — сторож. Или (в крайнем случае) дворник или угольщик. Обожаю евреев. Больше возлюблю их, чем самого себя.

... Приближается Кировский мост. Какая чудная, сказочная дуга, освещенная пугливыми огоньками со всех сторон. Мост, наверное, похож на радугу. Я сказал "наверное", во-первых, потому, что радуги теперь нет, и мне не с чем его сравнить, а во-вторых, я не вижу сейчас и моста, так как иду уже минут две с закрытыми глазами. Я всегда закрываю глаза, когда мне фигово. Кстати сказать, безумно люблю слово "фигово". У него есть какой-то необъяснимый привкус или звучание, может быть... Я же мастер слова. Знаете, как начинается мой первый роман про индейцев? Первая фраза была примерно такая:

"Мулы тянут повозку, по долине продвигается транцер... Его зовут Джо. Он сегодня уже удюкошил четверых. Он садист. В прерии стояли кусты (ничего, да? — стояли кусты!). За кулисами стоял индеец из племени-гуситаки-нипрому-тулиди, из клана бизона-волка-хорька и лисицы по имени Одноногий Верблюд, и целился своим единственным, затянутым бельмом глазом в траппера Джо..."

Великолепное начало. Дальше идет резня, которая вообще-то и не прекращается до самого конца романа. А сколько у меня было пьес, статей, эссе, стихов, воспоминаний, различных философских работ... и все про индейцев. Или, на худой конец, — про бизонов, мустангов и трапперов.

Я отвлекся. Кировский мост остался позади. Я шлепаю по лужам. Дождь этот чертов, похоже, не кончится никогда. Дождь — это символ чего-то смутного и трогательного. Я, кажется, пошатываюсь. Точнее, меня насильственно заставляют

шататься мои бездарные и пошлые мысли. Я приперживаюсь правой рукой за парапет, останавливаюсь и с-минуту тупо и сосредоточенно смотрю вперед, будто вижу там что-то-необычайное. Но все как раз более, чем обычно. Дальше следующий, Дворцовый мост, а у меня в сознании просто случился небольшой сдвиг. Поворот. Заскок. Я отключился ненадолго и поэтому теперь не узнаю места. Я — дурак. Я думаю о своей вине перед вами, мои нежные, снисходительные, благосклонные читатели и покровители. Я натрепал вам здесь всякой ереси. Вы, вероятно, думаете, что вскоре что-то-произойдет, эдакое роковое, безвозвратное. Но, уверяю вас, — ничего не будет. Ровным счетом. И главное — я просто, нагло, нахально и грубо обманул вас. Моя жена — превосходный человек. И обожает меня безумно. Она сидит сейчас на диване и кусает ногти из-за того, что уже скоро 9, а меня все нет. А если я не приду сегодня ночью, она умрет от разрыва сердца, и на ее похоронах все будут смотреть на меня, как на мучителя. Я и вправду слюнтяй и говно. Я парадоксалист, мыслитель, чревоугодник и чревоуещатель... Простите меня, ради Христа, умоляю вас. Если вы меня не простите, я сейчас повернусь и снова потащусь к этому идиотскому Литейному мосту. И опять стану думать о всякой белоберде, и заставлю вас еще целый час выносить этот несносный и безобразный бред, а потом (и это будет, выражаясь по-не-нашему, — апогей) я буду (опять же-таки какое-то бесконечное количество времени) стоять и пить кофе.
